



В. В. РОЗАНОВ

Толстой в литературе

Душа его *отлетела*; но в творениях душа Толстого остается *с нами*... Что не отразилось в них? От колыбели до гроба, от царя до крестьянина, от сподвижников Александра I до треволнений начала XX века всё живёт, дышит, говорит, думает в его великих созданиях. Это — целая культура. С его живого образа, который от нас ушёл, мы должны перенести свою любовь на его книги, — перечитать их, пережить, перечувствовать; должны многое воплотить в своей нравственной личности и жизни. За последние годы волнение, образовавшееся около Ясной Поляны, несколько задвинуло собою от глаз повседневного читателя первые классические его произведения, особенно «Войну и мир», которая даже подёрнулась точно пылью археологии. Но вечно жива и молода эта «Война и мир», — и пыль нагнала на неё наша беззаботность, наша сутолока и толчея общественная, наше легкомыслие и невниманье. Теперь пришло время сдуть эту пыль. Пусть Толстой встанет перед нами именно в этом самом обширном и самом законченном своём творении, — в творении самом историческом. Именно оно, своим содержанием, открывает ту удивительную эпопею русского общества и отчасти даже народа русского, каковою являются все его произведения, их сумма. «Война и мир» — главный корпус этой обширной, сложной и разнообразной постройки; к нему прибавлялись флигеля, этажи. В «Анне Карениной», «Власти тьмы», «Плодах просвещения», «Воскресении» — раньше в «Очерках Севастополя», «Детстве и отрочестве», «Казаках», «Двух гусарах» и других мелких рассказах дана история русского общества, всех ярусов, всех классов, за целое столетие от первых его лет

и до последних. Вот эта-то история общества и предлежит нашему изучению. На ней мы можем воспитаться в самосознании. Никто так обширно не творил, как он: около его картин создания других наших поэтов и художников являются картинками, рисуночками, лишь там и здесь дополняющими великую эпопею Толстого.

Между Пушкиным и Гоголем он встал, склонившись всецело к Пушкину и не имея почти ничего Гоголевского. Именно живопись Толстого своим положительным отношением к русской истории и русской жизни уравновесила гениальные отрицания малоросса Гоголя; уравновесила, притупила и сгладила. Толстой слишком нас убедил, что Россия — не страна «мёртвых душ». Духовная красота лиц, им выведенных, тонкость их быта и образов, сложность их духовной жизни — от семьи Болконских и Ростовых до вечно мятущегося Левина, — так велика, что ею зачаровалась и Европа. И никто дерзкий не повторит сейчас, что Россия создаёт только типы Чичикова да Собакевича.

Толстой — положительный писатель. Он — творец положительных идеалов в жизни. Эта его положительная сторона своим талантом, гением сводит на «нет» отрицания последних годов, какие он высказывал; высказывал уже слабеющим голосом и нетвёрдою рукою.

Нравственный мир или, вернее, нравственное море, волновавшееся около Толстого, имеет также ясное в себе средоточие: это — вера в душу человеческую, которая стоит выше царств, учреждений, законов, политики, борьбы партий, всего... От Платона Каратаева в «Войне и мире» до старичка Акима во «Власти тьмы» он пронёс один и тот же идеал: кроткого человека, покорного воле Божией. Никогда Толстой не замешал себя иначе чем на минуту ни в одну партию, ни в одно «направление общественной жизни», сочувствуя многому здесь, но ничему вполне не отдаваясь. Единственно, чему он себя отдал, — это *красоте души человеческой*, непритязательной, простой, обыкновенной... Здесь мы также должны вспомнить удивительный образ Николая Ростова в «Войне и мире». Толстой даже не любил излишеств ума; излищества философии — не выносил. Он любил «отречения» — и именно «отречения» от сложных и искусственных умственных построений (Левин, Пьер Безухов). Его запутанная философия последних лет является поэтому чи-

стым недоразумением и объясняется едва ли не в большей части давлением на него «друзей»...

Также чистым недоразумением является его расхождение с церковью. По основным идеям, по основному влечению: 1) к простой жизни и простоте выражения лица человеческого, 2) к отречению от мира, вернее — от суеты и «бестолочи» мира, — он, можно сказать, до жадности прильнул к церковному идеалу. Единственное, чего он мог не любить — пышность, «пышные церемонии», «пышные одежды» и проч. Но ведь явно же, что это — пустое, побочное. На этой мелочи возникла известная сцена, говорят, вяло написанная в «Воскресении» Толстого, где он пересмеял литургию. Но сам он эту сцену зачеркнул, и только «друг худший врага» Чертков восстановил её и напечатал в заграничном издании «Воскресения». Прочтя эту сцену, где они все осмеивались в своей службе, в своём обряде, «большие владыки» были оскорблены и поднялся (не в Синоде, но по инициативе местного пресвященного, затруднявшегося, как в случае смерти хоронить Толстого, и сделавшего об этом запрос в Синод) вопрос о его «православии», а затем почти неволью и непредвиденно сложилось и отлучение. В возбуждении последнего Победоносцев не играл никакой роли, не имел никакой инициативы. Так кратко рассказал это дело митрополит Антоний небольшому кружку писателей, среди которых был я. Явно, что всё это — мелочь, не затрагивавшая ни существа церкви, ни существа Толстого. Они разошлись, так сказать, не центрами, а где-то на периферии. Центрами же они скорее глубоко совпадали. Здесь я не могу не передать одного поразительного восклицания-признания, какое у Толстого вырвалось в единственном нашем свидании. Он (почти больной) позвал меня в кабинет для разговора наедине. Привлекательнейшую сторону разговора составляли мелькавшие среди рассуждений «примеры из народной жизни», какие он видел и которыми он пояснял или подтверждал свои взгляды. Видя эту его любовь к народу, к мужику, к простому русскому человеку, я сказал:

— Но, Лев Николаевич, всё это, о чём вы говорите и что считаете правдой и красотой русской души, он вынес из церкви, из её незаметных вековых нагнетаний и веяний... Вся церковь наша проста и немудряща, убога и терпелива... т. е. по духу своему, по молитвам, вековому внушению народу.

Он был очень слаб, да и разговор тянулся больше часа. В руках у него была палочка, на которую бродя (в зале) он опирался. Сидел он, весь изнеможённый, глубоко в кресле.

— Знаю я это!!! — и он вскочил весь страшно взволнованный и стукнув палкой об пол.

Только моя рассеянность, или то, что я ошеломлён был его волнением, «пришёл в смуту», — помешала мне поднять «этот кончик ниточки» и повести дальше к тому, что ведь никаких нет причин для расхождения «Церкви» и «Толстого». Нет причин главных, «в совести», — а только в каких-то глупых рассуждениях, в «рациональной» и «философской» стороне дела. Не «Аким-простота» расходился с Церковью, а «князь Андрей Болконский» в молодую и гордую и самоуверенную свою пору. Ещё, пожалуй, точнее — это было одно из вечных «уклонений» и «забреданий на чердак» гениального и доброго и правдивого Пьера Безухова, который отождествил Наполеона с антихристом по каким-то своим математическим вычислениям.

Это — с одной стороны; с другой же — какая-то канцелярщина: необходимость на «бумагу с номером» тульского архиерея ответить «бумагою за номером» из Синода. Словом — «обыкновенное русское».

Что хотят, пусть говорят: для меня Толстой есть православный из православных, по духу, по жизни, по образу. «Православный с приключениями»... «Каковы мы все...»

И пусть молят все Русские за душу его привычными молитвами. Ну, про себя, ну дома, всё равно. Как-нибудь. У нас всё «как-нибудь», и даже это и есть самая суть православия. Да не поднимется ни один злобный и *разделяющий* голос. Как Толстой не любил «разделений»!

1910

